Н. Карамзин

История государства Российского

Москва
«Книга по Требованию»

УДК 93
ББК 63.3
К21

Карамзин Н.М.
К21 История государства Российского / Н. Карамзин – М.: Книга по Требованию, 2023. – 740 с.

ISBN 978-5-4241-3550-7

"Карамзин есть первый наш историк и последний летописец..." - такое определение дал А. С. Пушкин великому просветителю, писателю и историку Н. М. Карамзину. Знаменитая "История государства Российского", все двенадцать томов которой вошли в эту книгу, стала крупным событием общественной жизни страны, эпохой в изучении нашего прошлого.

ISBN 978-5-4241-3550-7

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2023
© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2023
© Н.М. Карамзин, 2023

Н.М. Карамзин
История государства Российского

О Николае Михайловиче Карамзине

Карамзин, Николай Михайлович - знаменитый русский литератор, журналист и историк. Родился 1 декабря 1766 г. в Симбирской губернии; вырос в деревне отца, симбирского помещика. Первой духовной пищей 8 - 9-летнего мальчика были старинные романы, развившие в нем природную чувствительность. Уже тогда, подобно герою одной из своих повестей, "он любил грустить, не зная о чем", и "мог часа по два играть воображением и строить замки на воздухе". На 14-м году Карамзин был привезен в Москву и отдан в пансион московского профессора Шадена; он посещал также и университет, в котором можно было научиться тогда "если не наукам, то русской грамоте". Шадену он обязан был практическим знакомством с немецким и французским языками. После окончания занятий у Шадена, Карамзин несколько времени колебался в выборе деятельности. В 1783 г. он пробует поступить на военную службу, куда записан был еще малолетним, но тогда же выходит в отставку и в 1784 г. увлекается светскими успехами в обществе города Симбирска. В конце того же года Карамзин возвращается в Москву и через посредство земляка, И.П. Тургенева, сближается с кружком Новикова. Здесь началось, по словам Дмитриева, "образование Карамзина, не только авторское, но и нравственное". Влияние кружка продолжалось 4 года (1785 - 88). Серьезной работы над собой, которой требовало масонство, и которой так поглощен был ближайший друг Карамзина, Петров, в Карамзине, однако, не заметно. С мая 1789 до сентября 1790 г. он объехал Германию, Швейцарию, Францию и Англию, останавливаясь преимущественно в больших городах, как Берлин, Лейпциг, Женева, Париж, Лондон. Вернувшись в Москву, Карамзин стал издавать "Московский Журнал" (см. ниже), где появились "Письма русского путешественника". "Московский Журнал" прекратился в 1792 г., может быть - не без связи с заключением в крепость Новикова и гонением на масонов. Хотя Карамзин, начиная "Московский Журнал", формально исключил из его программы статьи "теологические и мистические", но после ареста Новикова (и раньше окончательного приговора) он напечатал довольно смелую оду: "К милости" ("Доколе гражданин покойно, без страха может засыпать, и всем твоим подвластным вольно по мыслям жизнь располагать; …доколе всем даешь свободу и света не темнишь в умах; доколе доверенность к народу видна во всех твоих делах: дотоле будешь свято чтима… спокойствия твоей державы ничто не может возмутить") и едва не попал под следствие по подозрению, что за границу его отправили масоны. Большую часть 1793 - 1795 годов Карамзин провел в деревне и приготовил здесь два сборника под названием "Аглая", изданные осенью 1793 и 1794 годов. В 1795 г. Карамзин ограничивался составлением "смеси" в "Московских Ведомостях". "Потеряв охоту ходить под черными облаками", он пустился в свет и вел довольно рассеянную жизнь. В 1796 г. он издал сборник стихотворений русских поэтов, под названием "Аониды". Через год появилась вторая книжка "Аонид"; затем Карамзин задумал издать нечто в роде хрестоматии по иностранной литературе ("Пантеон иностранной словесности"). К концу 1798 г. Карамзин едва провел свой "Пантеон" через цензуру, запрещавшую печатать Демосфена, Цицерона, Саллюстия и т. п., потому что они были республиканцами. Даже простая перепечатка старых произведений Карамзина встречала затруднения со стороны цензуры. Тридцатилетний Карамзин извиняется перед читателями за пылкость чувств "молодого, неопытного русского путешественника" и пишет одному из приятелей: "всему есть время, и сцены переменяются. Когда цветы на лугах пафосских теряют для нас свежесть, мы перестаем летать зефиром и заключаемся в кабинете для философских мечтаний… Таким образом, скоро бедная муза моя или пойдет совсем в отставку, или… будет перекладывать в стихи Кантову метафизику с Платоновой республикой". Метафизика, однако, была так же чужда умственному складу Карамзина, как и мистицизм. От посланий к Аглае и Хлое он перешел не к философии, а к историческим занятиям. В "Московском Журнале" Карамзин завоевал сочувствие публики в качестве литератора; теперь в "Вестнике Европы" (1802 - 03) он является в роли публициста. Преимущественно публицистический характер носит и составленное Карамзиным в первые месяцы царствования императора Александра I "Историческое похвальное слово императрице Екатерине II". Во время издания журнала Карамзин все более входит во вкус исторических статей. Он получает, при посредстве товарища министра народного просвещения М.Н. Муравьева, титул историографа и 2000 рублей ежегодной пенсии, с тем, чтобы написать полную историю России (31 октября 1803 г.). С 1804 г., прекратив издание "Вестника Европы", Карамзин погрузился исключительно в составление истории. В 1816 г. он издал первые 8 томов "Истории Государства Российского" (в 1818 - 19 годах вышло второе издание их), в 1821 г. - 9 том, в 1824 г. - 10-й и 11-й. В 1826 г. Карамзин умер, не успев дописать 12-го тома, который был издан Д.Н. Блудовым по бумагам, оставшимся после покойного. В течение всех этих 22 лет составление истории было главным занятием Карамзина; защищать и продолжать дело, начатое им в литературе, он предоставил своим литературным друзьям. До издания первых 8 томов Карамзин жил в Москве, откуда выезжал только в Тверь к великой княгине Екатерине Павловне (через нее он передал государю в 1810 г. свою записку "О древней и новой России") и в Нижний, на время занятия Москвы французами. Лето он обыкновенно проводил в Остафьеве, имении князя Андрея Ивановича Вяземского, на дочери которого, Екатерине Андреевне, Карамзин женился в 1804 г. (первая жена Карамзина, Елизавета Ивановна Протасова, умерла в 1802 г.). Последние 10 лет жизни Карамзин провел в Петербурге и сблизился с царской семьей, хотя император Александр I, не любивший критики своих действий, относился к Карамзину сдержанно со времени подачи "Записки", в которой историограф оказался plus royaliste que le roi. В Царском Селе, где Карамзин проводил лето по желанию императриц (Марии Феодоровны и Елизаветы Алексеевны), он не раз вел с императором Александром откровенные политические беседы, с жаром восставал против намерений государя относительно Польши, "не безмолвствовал о налогах в мирное время, о нелепой губернской системе финансов, о грозных военных поселениях, о странном выборе некоторых важнейших сановников, о министерстве просвещения или

затмения, о необходимости уменьшить войско, воюющее только Россию, о мнимом исправлении дорог, столь тягостном для народа, наконец, о необходимости иметь твердые законы, гражданские и государственные". По последнему вопросу государь отвечал, как мог бы он отвечать Сперанскому, что "даст коренные законы России", но на самом деле это мнение Карамзина, как и другие советы противника "либералов" и "сервилистов", Сперанского и Аракчеева, "осталось бесплодно для любезного отечества". Кончина императора Александра потрясла здоровье Карамзина; полубольной, он ежедневно бывал во дворце для беседы с императрицей Марией Феодоровной, от воспоминаний о покойном государе переходя к рассуждениям о задачах будущего царствования. В первые месяцы 1826 г. Карамзин пережил воспаление легких и решился, по совету докторов, ехать весной в Южную Францию и Италию, для чего император Николай дал ему денежные средства и предоставил в его распоряжение фрегат. Но Карамзин был уже слишком слаб для путешествия и 22 мая 1826 г. скончался.

Карамзин как историк. Приступая к составлению русской истории без надлежащей исторической подготовки, Карамзин не имел в виду быть исследователем. Он хотел приложить свой литературный талант к готовому материалу: "выбрать, одушевить, раскрасить" и сделать, таким образом, из русской истории "нечто привлекательное, сильное, достойное внимания не только русских, но и иностранцев". Предварительная критическая работа над источниками для Карамзина - только "тяжкая дань, приносимая достоверности": с другой стороны, и общие выводы из исторического рассказа кажутся ему "метафизикой", которая не годится "для изображения действия и характера"; "знание" и "ученость", "Остроумие" и "Глубокомыслие" "в историке не заменяют таланта изображать действия". Перед художественной задачей истории отступает на второй план даже моральная, какую поставил себе покровитель Карамзина, Муравьев; критической историей Карамзин не интересуется, философскую сознательно отстраняет. Но уже предшествовавшее поколение, под влиянием Шлецера, выработало идею критической истории; среди современников Карамзина требования критики были общепризнанными, а следующее поколение выступило с требованием философской истории. С своими взглядами на задачи историка Карамзин остался вне господствующих течений русской историографии и не участвовал в ее последовательном развитии. Страх перед "метафизикой" отдал Карамзина в жертву рутинному представлению о ходе русской истории, сложившемуся в официальной русской историографии, начиная с XVI в. По этому представлению, развитие русской истории находится в зависимости от развития монархической власти. Монархическая власть возвеличила Россию в киевский период; раздел власти между князьями был политической ошибкой, результатом которой явился удельный период русской истории; эта политическая ошибка была исправлена государственной мудростью московских князей - собирателей Руси; вместе с тем исправлены были и ее последствия - раздробление Руси и татарское иго. Не внеся ничего нового в общее понимание русской истории, Карамзин и в разработке подробностей находился в сильной зависимости от своих предшественников. В рассказе о первых веках русской истории Карамзин руководился, главным образом, "Нестором" Шлецера, не вполне, однако, усвоив его критические приемы. Для позднейшего времени главным пособием для Карамзина служила история Щербатова, доведенная почти до того времени, на котором остановилась "История Государства Российского". Щербатов не только помог Карамзину ориентироваться в источниках русской истории, но существенно повлиял и на самое изложение. Конечно, слог "Истории" Карамзина носит на себе печать литературной его манеры, со всеми ее условностями; но в выборе материала, в его расположении, в истолковании фактов Карамзин руководится "Историей" Щербатова, отступая от нее, не к пользе истины, в картинных описаниях "действий" и сентиментально-психологической обрисовке "характеров". Особенности литературной формы "Истории Государства Российского" доставили ей широкое распространение среди читателей и поклонников Карамзина, как литератора. В 25 дней разошлись все 3000 экземпляров первого издания "Истории Государства Российского". Но именно те особенности, которые делали "Историю" превосходной для своего времени популярной книгой, уже тогда лишали ее текст серьезного научного значения. Гораздо важнее для науки того времени были обширные "Примечания" к тексту. Небогатые критическими указаниями, "примечания" эти содержали множество выписок из рукописей, большей частью впервые опубликованных Карамзиным. Некоторые из этих рукописей теперь уже не существуют. В основу своей истории Карамзин положил те материалы Московского архива министерства (тогда коллегии) иностранных дел, которыми уже пользовался Щербатов (особенно духовные и договорные грамоты князей и акты дипломатических сношений с конца XV в.); но он мог воспользоваться ими полнее, благодаря усердной помощи директоров архива, Н.Н. Бантыш-Каменского и А.Ф. Малиновского. Много ценных рукописей дало Синодальное хранилище (тоже известное Щербатову), библиотеки монастырей (Троицкой лавры, Волоколамского монастыря и другие), которыми стали в это время интересоваться, а также частные собрания рукописей Мусина-Пушкина и Румянцева. Особенно много документов Карамзин получил от канцлера Румянцева, собиравшего, через своих многочисленных агентов, исторические материалы в России и за границей, а также от А.И. Тургенева, составившего коллекцию документов папского архива. Обширные выдержки из всего этого материала, к которому надо присоединить найденную самим Карамзиным южную летопись, историограф напечатал в своих "Примечаниях"; но, ограничиваясь ролью художественного рассказчика и оставляя почти вовсе в стороне вопросы внутренней истории, он оставил собранный материал в совершенно неразработанном виде. Все указанные особенности "Истории" Карамзина определили отношение к ней современников. "Историей" восхищались литературные друзья Карамзина и обширная публика читателей-неспециалистов; интеллигентные кружки находили ее отсталой по общим взглядам и тенденциозной; специалисты-исследователи относились к ней недоверчиво, и самое предприятие - писать историю при тогдашнем состоянии науки - считали чересчур рискованным. Уже при жизни Карамзина появились критические разборы его истории, а вскоре после его смерти сделаны были попытки определить его общее значение в историографии. Лелевель указывал на невольное искажение им истины, "через

сообщение предшедшему времени - характера настоящего" и вследствие патриотичеких, религиозных и политических увлечений. Арцыбашев показал, в какой мере вредят "истории" литературные приемы Карамзина; Погодин подвел итог всем недостаткам "Истории", а Полевой усмотрел общую причину этих недостатков в том, что "Карамзин есть писатель не нашего времени" и что все его точки зрения, как в литературе, так и в философии, политике и истории, устарели с появлением в России новых влияний европейского романтизма. В 1830-х годах "История" Карамзина делается знаменем официально "русского" направления, и при содействии того же Погодина производится ее научная реабилитация. Осторожные возражения Соловьева (в 1850-х годах) заглушаются юбилейным панегириком Погодина (1866).

Карамзин как литератор. "Петр Россам дал тела, Екатерина - душу". Так, известным стихом, определялось взаимное отношение двух творцов новой русской цивилизации. Приблизительно в таком же отношении находятся и создатели новой русской литературы: Ломоносов и Карамзин. Ломоносов приготовил тот материал, из которого образуется литература; Карамзин вдохнул в него живую душу и сделал печатное слово выразителем духовной жизни и отчасти руководителем русского общества. Белинский говорит, что Карамзин создал русскую публику, которой до него не было, создал читателей - а так как без читателей литература немыслима, то смело можно сказать, что литература, в современном значении этого слова, началась у нас с эпохи Карамзина и началась именно благодаря его знаниям, энергии, тонкому вкусу и незаурядному таланту. Карамзин не был поэтом: он лишен творческой фантазии, вкус его односторонен; идеи, которые он проводил не отличаются глубиной и оригинальностью; великим своим значением он более всего обязан своей деятельной любви к литературе и так называемым гуманным наукам. Подготовка Карамзина была широка, но неправильна и лишена солидных основ; по словам Грота, он "более читал, чем учился". Серьезное его развитие начинается под влиянием Дружеского общества. Глубокое религиозное чувство, унаследованное им от матери, филантропические стремления, мечтательная гуманность, платоническая любовь к свободе, равенству и братству с одной стороны и беззаветно-смиренное подчинение властям предержащим - с другой, патриотизм и преклонение перед европейской культурой, высокое уважение к просвещению во всех его видах, но при этом нерасположение к галломании и реакция против скептически-холодного отношения к жизни и против насмешливого неверия, стремление к изучению памятников родной старины - все это или заимствовано Карамзиным от Новикова и его товарищей, или укреплено их воздействием. Пример Новикова показал Карамзину, что и вне государственной службы можно приносить пользу своему отечеству, и начертал для него программу его собственной жизни. Под влиянием А. Петрова и, вероятно, немецкого поэта Ленца, сложились литературные вкусы Карамзина, представлявшие крупный шаг вперед сравнительно со взглядами его старших современников. Исходя из воззрения Руссо на прелести "природного состояния" и на права сердца, Карамзин, вслед за Гердером, от поэзии прежде всего требует искренности, оригинальности и живости. Гомер, Оссиан, Шекспир являются в его глазах величайшими поэтами; так называемая ново-классическая поэзия кажется ему холодной и не трогает его души; Вольтер в его глазах - только "знаменитый софист"; простодушные народные песни возбуждают его симпатию. В "Детском чтении" Карамзин следует принципам той гуманной педагогики, которую ввел в обиход "Эмиль" Руссо, и которая вполне совпадала со взглядами основателей Дружеского общества. В это время постепенно вырабатывается и литературный язык Карамзина, более всего способствовавший великой реформе. В предисловии к переводу Шекспировского "Юлия Цезаря" он еще пишет: "Дух его парил, яко орел, и не мог парения своего измерять", "великие духи" (вместо гении) и т. п. Но Петров смеялся над "долгосложно-протяжнопарящими" славянскими словами, и "Детское чтение" самой целью своей заставляло Карамзина писать языком легким и разговорным и всячески избегать "славянщины" и латинско-немецкой конструкции. Тогда же, или вскоре после отъезда за границу, Карамзин начинает испытывать свои силы в стихотворстве; ему нелегко давалась рифма, и в стихах его совсем не было так называемого парения, но и здесь слог его ясен и прост; он умел находить новые для русской литературы темы и заимствовать у немцев оригинальные и красивые размеры. Его "древняя гишпанская историческая песня": "Граф Гваринос", написанная в 1789 г., - первообраз баллад Жуковского; его "Осень" в свое время поражала необыкновенной простотой и изяществом. Путешествие Карамзина за границу и явившиеся его результатом "Письма русского путешественника" - факт огромной важности в истории русского просвещения. О "Письмах" Буслаев говорит: "многочисленные читатели их нечувствительно воспитывались в идеях европейской цивилизации, как бы созревали вместе с созреванием молодого русского путешественника, учась чувствовать его благородными чувствами, мечтать его прекрасными мечтами". По исчислению Галахова, в письмах из Германии и Швейцарии известия научно-литературного характера занимают четвертую часть, а если из парижских писем исключить науку, искусство и театр, останется значительно менее половины. Карамзин говорит, что письма писаны "как случалось, дорогой, на лоскутках карандашом"; а между тем оказалось, что в них немало литературных заимствований - стало быть, они написаны хотя отчасти "в тишине кабинета". Во всяком случае значительную часть материала Карамзин действительно набирал дорогой и записывал "на лоскутках". Другое противоречие существеннее: каким образом пылкий друг свободы, ученик Руссо, готовый упасть на колени перед Фиеско, может так презрительно отзываться о парижских событиях того времени и не хочет в них видеть ничего, кроме бунта, устроенного партией "хищных волков"? Конечно, воспитанник Дружеского общества не мог относиться с симпатией к открытому восстанию, но, боязливая осторожность также играла здесь немалую роль: известно, как резко изменила Екатерина свое отношение к французской публицистике и к деятельности "Генеральных штатов" после 14 июля. Самая тщательность обработки периодов в апрельском письме 1790 г. свидетельствует, по-видимому, о том, что тирады в восхваление старого порядка во Франции писаны на показ. - Карамзин усердно работал за границей (между прочим, выучился по-английски); его любовь к литературе укрепилась, и немедленно по возвращении на родину он делается журналистом. Его "Московский Журнал" - первый русский литературный журнал, действи-

тельно доставлявший удовольствие своим читателям. Здесь были образцы и литературной, и театральной критики, для того времени превосходные, красиво, общепонятно и в высшей степени деликатно изложенные. Вообще Карамзин сумел приспособить нашу словесность к потребностям лучших, т. е. более образованных русских людей, и притом обоего пола: до тех пор дамы не читали русских журналов. В "Московском Журнале" (как и позднее в "Вестнике Европы") Карамзин не имел сотрудников в современном значении этого слова: приятели присылали ему свои стихотворения, иногда очень ценные (в 1791 г. здесь появилось "Видение Мурзы" Державина, в 1792 г. "Модная жена" Дмитриева, знаменитая песня "Стонет сизый голубочек" его же, пьесы Хераскова, Нелединского-Мелецкого и других), но все отделы журнала он должен был наполнять сам; это оказалось возможным только потому, что он из-за границы привез целый портфель, наполненный переводами и подражаниями. В "Московском Журнале" появляются две повести Карамзина: "Бедная Лиза" и "Наталья, боярская дочь", служащие наиболее ярким выражением его сентиментализма. Особенно большой успех имела первая: стихотворцы славили автора или сочиняли элегии к праху бедной Лизы. Явились, конечно, и эпиграммы. Сентиментализм Карамзина исходил из его природных наклонностей и условий его развития, а также из его симпатии к литературной школе, возникшей в то время на Западе. В "Бедной Лизе" автор откровенно заявляет, что он "любит те предметы, которые трогают сердце и заставляют проливать слезы тяжкой скорби". В повести, кроме местности, нет ничего русского; но неясное стремление публики иметь поэзию, сближенную с жизнью, пока удовлетворялось и этим немногим. В "Бедной Лизе" нет и характеров, но много чувства, а главное - она всем тоном рассказа трогала душу и приводила читателей в то настроение, в каком им представлялся автор. Теперь "Бедная Лиза" кажется холодной и фальшивой, но по идее это первое звено той цепи, которая, через романс Пушкина: "Под вечер осенью ненастной", тянется до "Униженных и оскорбленных" Достоевского. Именно с "Бедной Лизы" русская литература принимает то филантропическое направление, о котором говорит Киреевский. Подражатели довели слезливый тон Карамзина до крайности, которой он вовсе не сочувствовал: уже в 1797 г. (в предисловии ко 2-й книге "Аонид") он советует "не говорить беспрестанно о слезах… сей способ трогать очень не надежен". "Наталья, боярская дочь" важна как первый опыт сентиментальной идеализации нашего прошлого, а в истории развития Карамзина - как первый и робкий шаг будущего автора "Истории Государства Российского". "Московский Журнал" имел успех, по тому времени весьма значительный (уже в первый год у него было 300 "субскрибентов"; впоследствии понадобилось второе его издание), но особенно широкой известности достиг Карамзин в 1794 г., когда он собрал из него все статьи свои и перепечатал в особом сборнике: "Мои безделки" (2-е изд., 1797; 3-е - 1801). С этих пор значение его, как литературного реформатора, вполне ясно: немногочисленные любители словесности признают его лучшим прозаиком, большая публика только его и читает с удовольствием. В России в то время всем мыслящим людям жилось так плохо, что, по выражению Карамзина, "великодушное остервенение против злоупотреблений власти заглушало голос личной осторожности" ("Записка о древней и новой России"). При Павле I Карамзин готов был покинуть литературу и искал душевного отдыха в изучении итальянского языка и в чтении памятников старины. С начала царствования Александра I-го Карамзин, оставаясь по-прежнему литератором, занял беспримерно высокое положение: он стал не только "певцом Александра" в том смысле, как Державин был "певцом Екатерины", но явился влиятельным публицистом, к голосу которого прислушивалось и правительство, и общество. Его "Вестник Европы" - такое же прекрасное для своего времени литературно-художественное издание, как "Московский Журнал", но вместе с тем и орган умеренно-либеральных взглядов. По-прежнему, однако, Карамзину приходится работать почти исключительно в одиночку; чтобы его имя не пестрило в глазах читателей, он принужден изобретать массу псевдонимов. "Вестник Европы" заслужил свое название рядом статей о европейской умственной и политической жизни и массой удачно выбранных переводов (Карамзин выписывал для редакции 12 лучших иностранных журналов). Из художественных произведений Карамзина в "Вестнике Европы" важнее других повесть-автобиография "Рыцарь нашего времени", в которой заметно отражается влияние Жан-Поля Рихтера, и знаменитая историческая повесть "Марфа Посадница". В руководящих статьях журнала Карамзин высказывает "приятные виды, надежды и желания нынешнего времени", разделявшиеся лучшей частью тогдашнего общества. Оказалось, что революция, грозившая поглотить цивилизацию и свободу, принесла им огромную пользу: теперь "государи, вместо того, чтобы осуждать рассудок на безмолвие, склоняют его на свою сторону"; они "чувствуют важность союза" с лучшими умами, уважают общественное мнение и стараются приобрести любовь народную уничтожением злоупотреблений. По отношению к России Карамзин желает образования для всех сословий, и прежде всего грамотности для народа ("учреждение сельских школ несравненно полезнее всех лицеев, будучи истинным народным учреждением, истинным основанием государственного просвещения"); он мечтает о проникновении науки в высшее общество. Вообще для Карамзина "просвещение есть палладиум благонравия", под которым он разумеет проявление в частной и общественной жизни всех лучших сторон человеческой природы и укрощение эгоистических инстинктов. Карамзин пользуется и формой повести для проведения своих идей в общество: в "Моей Исповеди" он обличает нелепое светское воспитание, которое дают аристократии, и несправедливые милости, ей оказываемые. Слабую сторону публицистической деятельности Карамзина составляет его отношение к крепостному праву; он, как говорит Н.И. Тургенев, скользит по этому вопросу (в "Письме сельского жителя" он прямо высказывается против предоставления крестьянам возможности самостоятельно вести свое хозяйство при тогдашних условиях). Отдел критики в "Вестнике Европы" почти не существует; Карамзин теперь далеко не такого высокого мнения о ней, как прежде, он считает ее роскошью для нашей, еще бедной, литературы. Вообще "Вестник Европы" не во всем совпадает с "Русским путешественником". Карамзин далеко не так, как прежде, благоговеет перед Западом и находит, что и человеку, и народу нехорошо вечно оставаться в положении ученика; он придает большое значение национальному самосознанию и отвергает мысль, что "все народ-

ное ничто перед человеческим". В это время Шишков начинает против Карамзина и его сторонников литературную войну, которая осмыслила и окончательно закрепила реформу Карамзина в нашем языке и отчасти в самом направлении русской словесности. Карамзин в юности признал своим учителем в литературном слоге Петрова, врага славянщины; в 1801 г. он высказывает убеждение, что только с его времени в русском слоге замечается "приятность, называемая французами elegance". Еще позднее (1803) он так говорит о литературном слоге: "русский кандидат авторства, недовольный книгами, должен закрыть их и слушать вокруг себя разговоры, чтобы совершенно узнать язык. Тут новая беда: в лучших домах говорят у нас более по-французски… Что же остается делать автору? Выдумывать, сочинять выражения, угадывать лучший выбор слов". Шишков восстал против всех нововведений (причем, примеры берет и у неумелых и крайних подражателей Карамзина), резко отделяя литературный язык, с его сильным славянским элементом и тремя стилями, от разговорного. Карамзин не принял вызова, но за него вступили в борьбу Макаров, Качановский и Дашков, которые и теснили Шишкова, несмотря на поддержку российской академии и на основание в помощь его делу "Беседы любителей российской словесности". Спор можно считать оконченным после основания Арзамаса и вступления Карамзина в академию в 1818 г. В своей вступительной речи он высказал светлую мысль, что "слова не изобретаются академиями; они рождаются вместе с мыслями". По выражению Пушкина, "Карамзин освободил язык от чуждого ига и возвратил ему свободу, обратив его к живым источникам народного слова". Этот живой элемент заключается в краткости периодов, в разговорной конструкции и в большом количестве новых слов (таковы, например, моральный, эстетический, эпоха, сцена, гармония, катастрофа, будущность, влиять на кого или на что, сосредоточить, трогательный, занимательный, промышленность). Работая над историей, Карамзин сознал хорошие стороны языка памятников и сумел ввести в обиход много красивых и сильных выражений. При собирании материала для "Истории" Карамзин оказал огромную услугу изучению древней русской литературы; по словам Срезневского, "о многих из древних памятников Карамзиным сказано первое слово и ни об одном не сказано слова не кстати и без критики". "Слово о Полку Игореве", "Поучение Мономаха" и множество других литературных произведений древней Руси стали известны большой публике только благодаря "Истории Государства Российского". В 1811 г. Карамзин был отвлечен от своего главного труда составлением знаменитой записки "О древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях" (издано вместе с запиской о Польше, в Берлине, в 1861 г.; в 1870 г. - в "Русском Архиве"), которую панегиристы Карамзина считают великим гражданским подвигом, а другие "крайним проявлением его фатализма", сильно склоняющегося к обскурантизму. Барон Корф ("Жизнь Сперанского", 1861) говорит, что эта записка не есть изложение индивидуальных мыслей Карамзина, но "искусная компиляция того, что он слышал вокруг себя". Нельзя не заметить явного противоречия между многими положениями записки и теми гуманными и либеральными мыслями, которые высказывал Карамзин, например, в "Историческом похвальном слове Екатерине" (1802) и других публицистических и литературных своих произведениях. Записка, как и поданное Карамзиным в 1819 г. Александру I "Мнение русского гражданина" о Польше (напечатано в 1862 г. в книге "Неизданные сочинения"; ср. "Русский Архив" 1869), свидетельствуют о некотором гражданском мужестве автора, так как по своему резко-откровенному тону должны были возбудить неудовольствие государя; но смелость Карамзина не могла быть ему поставлена в серьезную вину, так как возражения его основывались на его уважении к абсолютной власти. Мнения о результатах деятельности Карамзина сильно расходились при жизни его (его сторонники еще в 1798 - 1800 гг. считали его великим писателем и помещали в сборники рядом с Ломоносовым и Державиным, а враги даже в 1810 г. уверяли, что он разливает в своих сочинениях "вольнодумческий и якобинский яд" и явно проповедует безбожие и безначалие); не могут они быть приведены к единству и в настоящее время. Пушкин признавал его великим писателем, благородным патриотом, прекрасной душой, брал его себе в пример твердости по отношению к критике, возмущался нападками на его историю и холодностью статей по поводу его смерти. Гоголь говорит о нем в 1846 г.: "Карамзин представляет явление необыкновенное. Вот о ком из наших писателей можно сказать, что он весь исполнил долг, ничего не зарыл в землю и на данные ему пять талантов истинно принес другие пять". Белинский держится как раз противоположного мнения и доказывает, что Карамзин сделал меньше, чем мог. Впрочем, огромное и благодетельное влияние Карамзина на развитие русского языка и литературной формы единодушно признается всеми.

ПРЕДИСЛОВИЕ

История в некотором смысле есть священная книга народов: главная, необходимая; зерцало их бытия и деятельности; скрижаль откровений и правил; завет предков к потомству; дополнение, изъяснение настоящего и пример будущего.

Правители, Законодатели действуют по указаниям Истории и смотрят на ее листы, как мореплаватели на чертежи морей. Мудрость человеческая имеет нужду в опытах, а жизнь кратковременна. Должно знать, как искони мятежные страсти волновали гражданское общество и какими способами благотворная власть ума обуздывала их бурное стремление, чтобы учредить порядок, согласить выгоды людей и даровать им возможное на земле счастие.

Но и простой гражданин должен читать Историю. Она мирит его с несовершенством видимого порядка вещей, как с обыкновенным явлением во всех веках; утешает в государственных бедствиях, свидетельствуя, что и прежде бывали подобные, бывали еще ужаснейшие, и Государство не разрушалось; она питает нравственное чувство и праведным судом своим располагает душу к справедливости, которая утверждает наше благо и согласие общества.

Вот польза: сколько же удовольствий для сердца и разума! Любопытство сродно человеку, и просвещенному и дикому. На славных играх Олимпийских умолкал шум, и толпы безмолвствовали вокруг Геродота, читающего предания веков. Еще не зная употребления букв, народы уже любят Историю: старец указывает юноше на высокую могилу и повествует о делах лежащего в ней Героя. Первые опыты наших предков в искусстве грамоты были посвящены Вере и Дееписанию; омраченный густой сению невежества, народ с жадностию внимал сказаниям Летописцев. И вымыслы нравятся; но для полного удовольствия должно обманывать себя и думать, что они истина. История, отверзая гробы, поднимая мертвых, влагая им жизнь в сердце и слово в уста, из тления вновь созидая Царства и представляя воображению ряд веков с их отличными страстями, нравами, деяниями, расширяет пределы нашего собственного бытия; ее творческою силою мы живем с людьми всех времен, видим и слышим их, любим и ненавидим; еще не думая о пользе, уже наслаждаемся созерцанием многообразных случаев и характеров, которые занимают ум или питают чувствительность.

Если всякая История, даже и неискусно писанная, бывает приятна, как говорит Плиний: тем более отечественная. Истинный Космополит есть существо метафизическое или столь необыкновенное явление, что нет нужды говорить об нем, ни хвалить, ни осуждать его. Мы все граждане, в Европе и в Индии, в Мексике и в Абиссинии; личность каждого тесно связана с отечеством: любим его, ибо любим себя. Пусть Греки, Римляне пленяют воображение: они принадлежат к семейству рода человеческого и нам не чужие по своим добродетелям и слабостям, славе и бедствиям; но имя Русское имеет для нас особенную прелесть: сердце мое еще сильнее бьется за Пожарского, нежели за Фемистокла или Сципиона. Всемирная История великими воспоминаниями украшает мир для ума, а Российская украшает отечество, где живем и чувствуем. Сколь привлекательны берега Волхова, Днепра, Дона, когда знаем, что в глубокой древности на них происходило! Не только Новгород, Киев, Владимир, но и хижины Ельца, Козельска, Галича делаются любопытными памятниками и немые предметы - красноречивыми. Тени минувших столетий везде рисуют картины перед нами.

Кроме особенного достоинства для нас, сынов России, ее летописи имеют общее. Взглянем на пространство сей единственной Державы: мысль цепенеет; никогда Рим в своем величии не мог равняться с нею, господствуя от Тибра до Кавказа, Эльбы и песков Африканских. Не удивительно ли, как земли, разделенные вечными преградами естества, неизмеримыми пустынями и лесами непроходимыми, хладными и жаркими климатами, как Астрахань и Лапландия, Сибирь и Бессарабия, могли составить одну Державу с Москвою? Менее ли чудесна и смесь ее жителей, разноплеменных, разновидных и столь удаленных друг от друга в степенях образования? Подобно Америке Россия имеет своих Диких; подобно другим странам Европы являет плоды долговременной гражданской жизни. Не надобно быть Русским: надобно только мыслить, чтобы с любопытством читать предания народа, который смелостию и мужеством снискал господство над девятою частию мира, открыл страны, никому дотоле неизвестные, внеся их в общую систему Географии, Истории, и просветил Божественною Верою, без насилия, без злодейств, употребленных другими ревнителями Христианства в Европе и в Америке, но единственно примером лучшего.

Согласимся, что деяния, описанные Геродотом, Фукидидом, Ливием, для всякого не Русского вообще занимательнее, представляя более душевной силы и живейшую игру страстей: ибо Греция и Рим были народными Державами и просвещеннее России; однако ж смело можем сказать, что некоторые случаи, картины, характеры нашей Истории любопытны не менее древних. Таковы суть подвиги Святослава, гроза Батыева, восстание Россиян при Донском, падение Новагорода, взятие Казани, торжество народных добродетелей во время Междоцарствия. Великаны сумрака, Олег и сын Игорев; простосердечный витязь, слепец Василько; друг отечества, благолюбивый Мономах; Мстиславы *Храбрые*, ужасные в битвах и пример незлобия в мире; Михаил Тверский, столь знаменитый великодушною смертию, злополучный, истинно мужественный, Александр Невский; Герой юноша, победитель Мамаев, в самом легком начертании сильно действуют на воображение и сердце. Одно государствование Иоанна III есть редкое богатство для истории: по крайней мере не знаю Монарха достойнейшего жить и сиять в ее святилище. Лучи его славы падают на колыбель Петра - и между сими двумя Самодержцами удивительный Иоанн IV, Годунов, достойный своего счастия и несчастия, странный Лжедимитрий, и за сонмом доблественных Патриотов, Бояр и граждан, наставник трона, Первосвятитель Филарет с Державным сыном, светоносцем во тьме наших государственных бедствий, и Царь Алексий, мудрый отец Императора, коего назвала Великим Европа. Или вся Новая История должна безмолвствовать, или Российская иметь право на внимание.

Знаю, что битвы нашего Удельного междоусобия, гремящие без умолку в пространстве пяти веков, маловажны для разума; что сей предмет не богат ни мыслями для Прагматика, ни красотами для живописца; но История не роман, и мир не сад, где все должно быть приятно: она изображает действительный мир. Видим на земле величественные горы и водопады, цветущие луга и долины; но сколько песков бесплодных и степей унылых! Однако ж путешествие вообще любезно человеку с живым чувством и воображением; в самых пустынях встречаются виды прелестные.

Не будем суеверны в нашем высоком понятии о Дееписаниях Древности. Если исключить из бессмертного творения Фукидидова вымышленные речи, что останется? Голый рассказ о междоусобии Греческих городов: толпы злодействуют, режутся за честь Афин или Спарты, как у нас за честь Мономахова или Олегова дома. Не много разности, если забудем, что сии полу-тигры изъяснялись языком Гомера, имели Софокловы Трагедии и статуи Фидиасовы. Глубокомысленный живописец Тацит всегда ли представляет нам великое, разительное? С умилением смотрим на Агриппину, несущую пепел Германика; с жалостию на рассеянные в лесу кости и доспехи Легиона Варова; с ужасом на кровавый пир неистовых Римлян, освещаемых пламенем Капитолия; с омерзением на чудовище тиранства, пожирающее остатки Республиканских добродетелей в столице мира: но скучные тяжбы городов о праве иметь жреца в том или другом храме и сухой Некролог Римских чиновников занимают много листов в Таците. Он завидовал Титу Ливию в богатстве предмета; а Ливий, плавный, красноречивый, иногда целые книги наполняет известиями о сшибках и разбоях, которые едва ли важнее Половецких набегов. - Одним словом, чтение всех Историй требует некоторого терпения, более или менее награждаемого удовольствием.

Историк России мог бы, конечно, сказав несколько слов о происхождении ее главного народа, о составе Государства, представить важные, достопамятнейшие черты древности в искусной *картине* и начать *обстоятельное* повествование с Иоаннова времени или с XV века, когда совершилось одно из величайших государственных творений в мире: он написал бы легко 200 или 300 красноречивых, приятных страниц, вместо многих книг, трудных для Автора, утомительных для Читателя. Но сии *обозрения*, сии *картины* не заменяют летописей, и кто читал единственно Робертсоново Введение в Историю Карла V, тот еще не имеет основательного, истинного понятия о Европе средних времен. Мало, что умный человек, окинув глазами памятники веков, скажет нам свои примечания: мы должны сами видеть действия и действующих - тогда знаем Историю. Хвастливость Авторского красноречия и нега Читателей осудят ли на вечное забвение дела и судьбу наших предков? Они страдали, и своими бедствиями изготовили наше величие, а мы не захотим и слушать о том, ни знать, кого они любили, кого обвиняли в своих несчастиях? Иноземцы могут пропустить скучное для них в нашей древней Истории; но добрые Россияне не обязаны ли иметь более терпения, следуя правилу государственной нравственности, которая ставит уважение к предкам в достоинство гражданину образованному?… Так я мыслил, и писал об *Игорях*, о *Всеволодах*, как *современник*, смотря на них в тусклое зеркало древней Летописи с неутомимым вниманием, с искренним почтением; и если, вместо *живых*, *целых* образов представлял единственно *тени*, *в отрывках*, то не моя вина: я не мог дополнять Летописи!

Есть *три* рода Истории: *первая* современная, например, Фукидидова, где очевидный свидетель говорит о происшествиях; *вторая*, как Тацитова, основывается на свежих словесных преданиях в близкое к описываемым действиям время; *третья* извлекается только из памятников, как наша до самого XVIII века. (Только с Петра Великого начинаются для нас словесные предания: мы слыхали от своих отцев и дедов об нем, о Екатерине I, Петре II, Анне, Елисавете многое, чего нет в книгах. (Здесь и далее помечены примечания Н. М. Карамзина.)) В *первой* и *второй* блистает ум, воображение Дееписателя, который избирает любопытнейшее, цветит, украшает, иногда *творит*, не боясь обличения; скажет: *я так видел*, *так слышал* - и безмолвная Критика не мешает Читателю наслаждаться прекрасными описаниями. *Третий* род есть самый ограниченный для таланта: нельзя прибавить ни одной черты к известному; нельзя вопрошать мертвых; говорим, что предали нам современники; молчим, если они умолчали - или справедливая Критика заградит уста легкомысленному Историку, обязанному представлять единственно то, что сохранилось от веков в Летописях, в Архивах. Древние имели право вымышлять *речи* согласно с характером людей, с обстоятельствами: право, неоцененное для истинных дарований, и Ливий, пользуясь им, обогатил свои книги силою ума, красноречия, мудрых наставлений. Но мы, вопреки мнению Аббата Мабли, не можем ныне витийствовать в Истории. Новые успехи разума дали нам яснейшее понятие о свойстве и цели ее; здравый вкус уставил неизмененные правила и навсегда отлучил Дееписание от Поэмы, от цветников красноречия, оставив в удел первому быть верным зерцалом минувшего, верным отзывом слов, действительно сказанных Героями веков. Самая прекрасная выдуманная речь безобразит Историю, посвященную не славе Писателя, не удовольствию Читателей и даже не мудрости нравоучительной, но только истине, которая уже сама собою делается источником удовольствия и пользы. Как Естественная, так и Гражданская История не терпит вымыслов, изображая, что есть или было, а не что быть *могло*. Но История, говорят, наполнена ложью: скажем лучше, что в ней, как в деле человеческом, бывает примес лжи, однако ж характер истины всегда более или менее сохраняется; и сего довольно для нас, чтобы составить себе общее понятие о людях и деяниях. Тем взыскательнее и строже Критика; тем непозволительнее Историку, для выгод его дарования, обманывать добросовестных Читателей, мыслить и говорить за Героев, которые уже давно безмолвствуют в могилах. Что ж остается ему, прикованному, так сказать, к сухим хартиям древности? порядок, ясность, сила, живопись. Он творит из данного вещества: не произведет золота из меди, но должен очистить и медь; должен знать всего цену и свойство; открывать великое, где оно таится, и малому не давать прав великого. Нет предмета столь бедного, чтобы Искусство уже не могло в нем ознаменовать себя приятным для ума образом.

Доселе Древние служат нам образцами. Никто не превзошел Ливия в красоте повествования, Тацита в силе: вот главное! Знание всех Прав на свете, ученость Немецкая, остроумие Вольтерово, ни самое глубокомыслие Макиавелево

в Историке не заменяют таланта изображать действия. Англичане славятся Юмом, Немцы Иоанном Мюллером, и справедливо (Говорю единственно о тех, которые писали целую Историю народов. Феррерас, Даниель, Масков, Далин, Маллет не равняются с сими двумя Историками; но усердно хваля Мюллера (Историка Швейцарии), знатоки не хвалят его Вступления, которое можно назвать Геологическою Поэмою): оба суть достойные совместники Древних, - не подражатели: ибо каждый век, каждый народ дает особенные краски искусному Бытописателю. "Не подражай Тациту, но пиши, как писал бы он на твоем месте!" есть правило Гения. Хотел ли Мюллер, часто вставляя в рассказ нравственные *апоффегмы*, уподобиться Тациту? Не знаю; но сие желание блистать умом, или казаться глубокомысленным, едва ли не противно истинному вкусу. Историк рассуждает только в объяснение дел, там, где мысли его как бы дополняют описание. Заметим, что сии апоффегмы бывают для основательных умов или полу-истинами, или весьма обыкновенными истинами, которые не имеют большой цены в Истории, где ищем действий и характеров. Искусное повествование есть *долг* бытописателя, а хорошая отдельная мысль - *дар*: читатель требует первого и благодарит за второе, когда уже требование его исполнено. Не так ли думал и благоразумный Юм, иногда весьма плодовитый в изъяснении причин, но до скупости умеренный в размышлениях? Историк, коего мы назвали бы совершеннейшим из Новых, если бы он не излишно *чуждался* Англии, не излишно хвалился беспристрастием и тем не охладил своего изящного творения! В Фукидиде видим всегда Афинского Грека, в Ливии всегда Римлянина, и пленяемся ими, и верим им. Чувство: *мы, наше* оживляет повествование - и как грубое пристрастие, следствие ума слабого или души слабой, несносно в Историке, так любовь к отечеству даст его кисти жар, силу, прелесть. Где нет любви, нет и души.

Обращаюсь к труду моему. Не дозволяя себе никакого изобретения, я искал выражений в уме своем, а мыслей единственно в памятниках: искал духа и жизни в тлеющих хартиях; желал преданное нам веками соединить в систему, ясную стройным сближением частей; изображал не только бедствия и славу войны, но и все, что входит в состав гражданского бытия людей: успехи разума, искусства, обычаи, законы, промышленность; не боялся с важностию говорить о том, что уважалось предками; хотел, не изменяя своему веку, без гордости и насмешек описывать веки душевного младенчества, легковерия, баснословия; хотел представить и характер времени и характер Летописцев: ибо одно казалось мне нужным для другого. Чем менее находил я известий, тем более дорожил и пользовался находимыми; тем менее выбирал: ибо не бедные, а богатые избирают. Надлежало или не сказать ничего, или сказать все о таком-то Князе, дабы он жил в нашей памяти не одним сухим именем, но с некоторою нравственною физиогномиею. Прилежно *истощая* материалы древнейшей Российской Истории, я ободрял себя мыслию, что в повествовании о временах отдаленных есть какая-то неизъяснимая прелесть для нашего воображения: там источники Поэзии! Взор наш, в созерцании великого пространства, не стремится ли обыкновенно - мимо всего близкого, ясного - к концу горизонта, где густеют, меркнут тени и начинается непроницаемость?

Читатель заметит, что описываю деяния *не врознь*, по годам и дням, но *совокупляю* их для удобнейшего впечатления в памяти. Историк не Летописец: последний смотрит единственно на время, а первый на свойство и связь деяний: может ошибиться в распределении мест, но должен всему указать свое место.

Множество сделанных мною примечаний и выписок устрашает меня самого. Счастливы Древние: они не ведали сего мелочного труда, в коем теряется половина времени, скучает ум, вянет воображение: тягостная жертва, приносимая *достоверности*, однако ж необходимая! Если бы все материалы были у нас собраны, изданы, очищены Критикою, то мне оставалось бы единственно ссылаться; но когда большая часть их в рукописях, в темноте; когда едва ли что обработано, изъяснено, соглашено - надобно вооружиться терпением. В воле Читателя заглядывать в сию пеструю смесь, которая служит иногда свидетельством, иногда объяснением или дополнением. Для охотников все бывает любопытно: старое имя, слово; малейшая черта древности дает повод к соображениям. С XV века уже менее выписываю: источники размножаются и делаются яснее.

Муж ученый и славный, Шлецер, сказал, что наша История имеет пять главных периодов; что Россия от 862 года до Святополка должна быть названа *рождающеюся* (Nascens), от Ярослава до Моголов *разделенною* (Divisa), от Батыя до Иоанна *угнетенною* (Oppressa), от Иоанна до Петра Великого *победоносною* (Victrix), от Петра до Екатерины II *процветающею*. Сия мысль кажется мне более остроумною, нежели основательною. 1) Век Св. Владимира был уже веком могущества и славы, а не рождения. 2) Государство *делилось* и прежде 1015 года. 3) Если по внутреннему состоянию и внешним действиям России надобно означать периоды, то можно ли смешать в один время Великого Князя Димитрия Александровича и Донского, безмолвное рабство с победою и славою? 4) Век Самозванцев ознаменован более злосчастием, нежели победою. Гораздо лучше, истиннее, скромнее история наша делится на *древнейшую* от Рюрика до Иоанна III, на *среднюю* от Иоанна до Петра, и *новую* от Петра до Александра. Система Уделов была характером *первой эпохи*, единовластие - *второй*, изменение гражданских обычаев - *третьей*. Впрочем, нет нужды ставить грани там, где места служат живым урочищем.

С охотою и ревностию посвятив двенадцать лет, и лучшее время моей жизни, на сочинение сих осьми или девяти Томов, могу по слабости желать хвалы и бояться осуждения; но смею сказать, что это для меня не главное. Одно славолюбие не могло бы дать мне твердости постоянной, долговременной, необходимой в таком деле, если бы не находил я истинного удовольствия в самом труде и не имел надежды быть полезным, то есть, сделать Российскую Историю известнее для многих, даже и для строгих моих судей.

Благодаря всех, и живых и мертвых, коих ум, знания, таланты, искусство служили мне руководством, поручаю себя снисходительности добрых сограждан. Мы одно любим, одного желаем: любим отечество; желаем ему благоденствия еще более, нежели славы; желаем, да не изменится никогда твердое основание нашего величия; да правила мудрого